

Диссертация Агнесы Василикопулу-Иоанниду, ученицы известного историка византийской литературы Н. Томадакиса, отчетливо распадается на три части. Одна из них — свод гомеровских образов, выражений и слов, встречающихся у византийских писателей XII в., и анализ этого материала (стр. 111—146). Гомер, который входил в систему школьного образования, был хорошо известен образованному византийцу; гомеровский мир воспринимался как своеобразная (мифологическая) реальность, им постоянно оперировали, хотя он и отличался от официального космоса церковной идеологии. Любопытна при этом тенденция к лексическому упрощению гомеровского контекста, свойственная византийским авторам: замена редких слов синонимами, модернизация грамматических форм и синтаксиса (стр. 164). Отношение византийцев к Гомеру определялось традиционностью средневекового мышления: критический анализ, вопрос о подлинности, об авторстве эпоса не интересовали филологов XII в. (стр. 114). Они удовлетворялись повторением эллинистических суждений о происхождении и времени жизни Гомера, внося туда несущественные варианты: так, согласно Евстафию Солунскому, 20 городов спорили за честь считаться родиной поэта, по Цепу же — только семь. Византийские комментаторы настойчиво связывали Гомера с Египтом: Цеп утверждал, что его отцом был писец иероглифов, который обучил сына тайнам своего искусства (стр. 115). Естественным для средних веков было стремление соотносить Гомера с библейскими персонажами: у византийских хронистов встречается мысль, что поэт был современником царя Соломона (стр. 116).

Этой части, содержащей большой и полезный материал, предшествует другая — гетерогенный раздел, характеризующий Византию XII столетия: ее политическое положение, образovanность, различные жанры литературы (стр. 43—110). В нем, к сожалению, нет серьезного анализа общественной и культурной ситуации изучаемой эпохи. Довольно односторонне автор отбирает факты, свидетельствующие об упадке Византии (военные поражения, мятежи); банальные утверждения («причиной упадка были также свойства правивших после Мануила императоров» — стр. 45) перемежаются с элементарными ошибками: к Алексею II отнесены слова Зонары, сказанные об Алексее I (стр. 46 и прим. 1); императрица Ирина-Берта смешана с севастократорисой Ириной (женой Андроника, брата Мануила I), причем автор полагает, будто Продром написал стихи на ее смерть, тогда как имеются в виду стихи от ее имени на смерть Андроника (стр. 50 и сл.); о том, что Патриаршая академия XII в. была основана еще при Иракии (стр. 56), нет никаких данных; список сочинений византийских риторов на стр. 75 отрывочен и неполон (разве Никита Хониат написал только 4 речи: два панегирика и два энкомия?); «Тимарион» приписан Продрому и отнесен к разделу о поэзии (стр. 103).

Трактую XII столетие как эпоху политического и культурного упадка (стр. 52, 76 и др.), Василикопулу-Иоанниду, тем не менее, признает, что историография переживает в ту пору расцвет (стр. 81), подобно риторике (стр. 93) и эпистолографии (стр. 97). Однако остается неясным, что понимается в данном случае под расцветом — большое количество написанных сочинений или нечто иное, скажем, их высокое качество.

Наиболее важной частью рецензируемой работы представляется мне третья, где автор ставит вопрос о византийском возрождении XII в. и решает его отрицательно (стр. 169—199). Она противопоставляет Византии западный Ренессанс: в Византии изучение античного наследия никогда не прекращалось, но это было изучение формы, приспособленной к потребностям христианского мировоззрения, тогда как «новый человек на Западе» обращался к существу античной культуры, ища в ней ответа на потребности своей эпохи (стр. 181 и сл.).

Стремление Василикопулу-Иоанниду определить понятие «возрождение» и отделить от истинного Ренессанса внешне сходные с ним феномены заслуживает всяческого внимания — особенно теперь, когда нестрогое употребление понятий «возрождение», «ренессанс», «гуманизм» приводит к стиранию грани между столь разнородными явлениями, как итальянский гуманизм XIV—XVI вв., каролингское возрождение IX в. или так называемый кельтский ренессанс V—VI вв. Однако конкретная трактовка исследовательницей византийского XII века и принципиальное противопоставление Византии Западу вызывает у меня сомнения.

Прежде всего, сопоставлять комминовскую Византию надо не с Италией Леонардо да Винчи, а с современным Комнинам западным миром ранней схоластики, Оттона Фрейзингенского и зарождающейся поэзии трубадуров. В таком случае различие окажется не столь значительным и, во всяком случае, лежащим не в той плоскости, где его ищет Василикопулу-Иоанниду. Если в Византии гомеровская традиция никогда не умирала вовсе (хотя надо признать, что во времена Феофана она не была столь живой, как при Пселле или Хониатах), то на Западе традиция Вергилия теплилась с тем же постоянством. А вместе с тем развитие схоластики на Западе имело адекватные параллели в деятельности Иоанна Итала, Евстратия Никейского и Сотриха в Византии. Не надо забывать и того, что «классицизирующее» XII столетие дало первые подлинные образцы литературы на разговорном языке. Короче говоря, если бы мы искали в Византии XII в. не гуманизм Лоренцо Валла и Брунеллески,

а более скромное «предвозрождение», ответ, может быть, не был столь категорически негативным.

Далее, континуирует античной традиции кажется мне преувеличенным греческой исследовательницей: я подробно писал об этой проблеме в рецензии на книгу П. Лемерля о византийском гуманизме IV—X вв.<sup>1</sup> и здесь повторю лишь основное: конечно, знание античной литературы никогда не сходило совсем к нулю (как не искоренялось в Италии знание латинской литературы), но несомненно имелись периоды угасания интереса к ней и возрастания этого интереса. Таким периодом возрастания интереса явились как раз XI и XII столетия, причем, думаю, интерес этот был не просто «эндо-терически»-книжным, но и вызванным общественными потребностями эпохи<sup>2</sup>.

И последнее. Цитата в средневековом произведении — органический его элемент, выполняющий определенную художественную и общественную нагрузку. Писатель XII в. иначе мыслит прошлое, чем мы, и с помощью цитаты привязывает прошлое к современности. Цеп, превращая Ахилла в вождя гуннов и болгар (стр. 68, прим. 6), не мог не знать, что болгары пришли на Балканы много позднее гомеровской эпохи, — его пренебрежение временной дистанцией было не ошибкой, но позицией. Как использовали Гомера мастера византийского предвозрождения, какой художественный эффект они создавали, какие эмоции вызывали (а умело использованная цитата могла породить неожиданные эмоции), — вот проблема, оставшаяся за рамками рецензируемой книги. Не рассматривая этот вопрос в целом, я позволю себе сослаться лишь на один пример, относящийся, правда, к чуть более позднему времени: Пахимер (кн. II, гл. 8, т. 1, стр. 103) рассказывает, как патриарх Арсений, подписывая нежелательный для него документ, заметил, что делает это *ἀμοιρότης*, букв. — «таким же образом» (как все); тут же историк добавляет: «У Поэта (Гомера) слово *ἀμοιός* было среди худших, и патриарх обозначил им вынужденность и дурной характер своего подписания, то, что он делал это не по доброй воле и радостно, но сознавая необходимость и насилие». Вот какое богатое внутреннее содержание могло приобрести гомеровское слово — и современникам это было понятно.

А. К.

<sup>1</sup> См. BS, 34, 1973, p. 51—57.

<sup>2</sup> Такая постановка вопроса пока еще редко встречается в работах западных византистов. См. прежде всего: А. Garzya. Storia e interpretazione di testi bizantini. London, 1974, VII, p. 1—14; H. Hunger. Byzantinische Grundlagentforschung. London, 1973, XVI, S. 59—76.